

Девочка
с Патриарших



ЕКАТЕРИНА

РОЖ
ДЕСТ
ВЕН
СКАЯ

ЕКАТЕРИНА

РОЖ
ДЕСТ
ВЕН
СКАЯ

балкон
на
Кутузовском



Москва
2022

УДК 821.161-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р62

Художественное оформление серии
Петра Петрова

Рождественская, Екатерина Робертовна.
Р62 Балкон на Кутузовском / Екатерина Рождественская. — Москва : Эксмо, 2022. — 352 с.

ISBN 978-5-04-160765-4

Адрес — это маленькая жизнь. Ограниченная не только географией и временем, но и любимыми вещами, видом из окна во двор, милыми домашними запахами и звуками, присутствующими только этому месту, но главное — родными, этот дом наполняющими.

Перед вами роман про мой следующий адрес — Кутузовский, 17 и про памятное для многих время — шестидесятые годы. Он про детство, про бабушек, Полю и Лиду, про родителей, которые всегда в отъезде и про нелюбимую школу. Когда родителей нет, я сплю в папкином кабинете, мне там всё нравится: и портрет Хемингуэя на стене, и модная мебель, и полосатые паласы и полки с книгами. Когда они наконец приезжают, у них всегда гости, которых я не люблю, — они пьют портвейн, съедают всё, что наготовили бабушки, постоянно курят, спорят и читают стихи. Скучно...

Это попытка погружения в шестидесятые, в ту милую реальность, когда все было проще, человечнее, добрее и понятнее.

УДК 821.161-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-160765-4

© Рождественская Е., текст, 2022
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

«Здравствуйте, родные мои, мама, папа!
Получили ли вы мое письмо? Наверное, получили. Но ваш ответ, очевидно, не застанет нас с Аленкой в Москве – сегодня мы уезжаем на юг. Надо за несколько лет отдохнуть. Правда, не знаю, как будет с погодой, уж больно разноречивые о ней отзывы. Одни приезжают и говорят: «В Крыму холодно, на Кавказе жарко», – другие: «В Крыму жарко, на Кавказе холодно», – третьи: «В Крыму и на Кавказе холодно»/ Самое обидное, что нет таких, которые говорят, что и в Крыму, и на Кавказе жарко. Но это надо проверить. Хочется к морю.

Как вы там строитесь? В каком состоянии дом? Напишите мне, если что-то надо будет достать из стройматериалов, обращусь в Союз писателей. Надеюсь, помогут.

Едем мы дней на 20, если погода не выгонит раньше. Мне надо быть в Москве 12–13 мая, начинается киргизская декада, а я за этот год сделался почетным киргизом, ведь перевел на русский почти всех киргизских поэтов.

Если не отменяют, то слушайте 25 апреля в 21.15 по первой программе мою передачу «Ровеснику». Мурыжили ее долго, все чего-то опасались и, наконец, решили пустить в эфир. Читает В. Лановой (киноактер, он играет Корганна в «Как закалялась сталь»). Музыку снова написал Фляр, композитор Александр Флярковский, вы поиниште.

Крепко всех целую,

Роберт».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Адрес — это целая жизнь, ограниченная временем, номером квартиры, дома и названием улицы. Это часть тебя, иногда большая, иногда невзрачная, но все равно часть твоей памяти. Я и решила разделить свою жизнь на адреса. Мне так легче вспоминать.

Начались мои адреса с коммунального подвала в одном большом круглом дворе, где я родилась однажды летом. Но об этом уже написано в книге «Двор на Поварской». Длиннющий коридор с вечным запахом жареного лука, замызганные окна (как их ни мой) ниже уровня земли, неясное бурчание соседей за стеной, один телефон на всех с привязанным к нему карандашом и зеленая занавеска в горошек, перегородаживающая и без того крохотную комнатку. Семь ступенек из темноты вверх на волю, к солнцу, на уровень земли. Вот такой он, родной подвал, который продержал меня в себе первые четыре года с самого рождения.

Памятник Льву Толстому во дворе. Черный, сердитый, насупленный гигант, придавленный огромной бронзовой книгой. На его плечах и голове вечно гадающие голуби. Толстой был моим детским кошмаром. «Вот не будешь спать, придет наш Лев Никола-

ич...», — говорила прабабушка Поля. И я себе начинала это представлять, как встает, гремя и поскрипывая, бронзовый Толстой, откладывает книгу и тяжело (старенький ведь уже) спрыгивает с постамента, отчего в районе начинается довольно заметное землетрясение... И никого в детстве я так так сильно не боялась, как великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. А как результат тех детских страхов — нелюбовь к этому великому и ужасному.

Напротив моего первого двора — детская площадка с огромной песочницей, где постоянно справляла нужду белая болонка с неправильным прикусом, и сколько хозяйку ни просили держаться от песочницы подальше — нет: «Сарочка у меня умница, она тут привыкла!» Сарочка — болонка, вы поняли.

Но потом папа, как молодой и подающий надежды советский поэт, выцыганил, наконец, отдельную квартиру, и мы переехали от Толстого с Сарочкой на Кутузовский проспект, в новый кирпичный дом, который много лет спустя назовут «хрущевкой улучшенного типа». С этого адреса — Кутузовский проспект, д. 17, кв. 119, что стоял напротив Дома игрушки, — начинается моя вторая жизнь, сначала детсадовская, потом школьная.

Что интересно, родителей в этой квартирке я почти не помню. Оно и понятно — им по тридцать, они молоды и уже известны, самое время ездить, накапливать страны, впечатления, друзей и врагов. А я всегда дома с Лидой и Полей, живыми и осязаемыми, нежными и теплыми бабушкой и прабабушкой, моими ангелами-хранителями. Родители в то затертое вре-

мя — как яркие вспышки праздника, захватывающий дух фейерверк. Вот они радостно трезвонят в дверь — мы уже знаем, что это именно они, — и вваливаются в прихожую с багажом. Смех, крики, иногда и слезы, причитания, радость. На кухне уже накрыт стол, все их любимое — жареная картошечка, тушеное мясо или навага, лепешки, селедка, домашние соленые огурчики, а бабушки для себя ставят бутылочку кагора, чтобы успокоиться. А потом я залезаю в выпотрошенный чемодан и вдыхаю неведомо-ментоловый запах жвачки, рассматриваю остатки каких-то блестящих фантиков и с удивлением кручу в руках пакетик с одноразовым аэрофлотовским сахаром — надо же, как придумали... Да, и старательно складываю целлофановые пакетики отдельно — это большая ценность по тем временам. А родители все рассказывают и рассказывают, где были, что видели, как их принимали, с кем встречались. Под эти истории я и засыпаю в чемодане на вещах, так пахнущих папкой и мамкой. Ну, и жвачкой, конечно, тоже.

И деревья во дворе того дома на Кутузовском оставались для меня пока еще огромными-преогромными, сплошные сказочные баобабы, хоть я баобабов и в глаза никогда не видела. На деле они оказывались просто взрослыми липами и тополями, но поскольку детство — это всегда сказка, то и деревья были волшебными. Сказочные магазинчики-дворцы за углом со знакомыми продавщицами-колдуньями, оставляющими самый редкий «дефицит». Чудесные врачиволшебники, приходившие ко мне, вечно больной, по первому зову, старенькие, знающие, ставшие родней.

Тенистые магические беседки поодаль от подъезда, окруженные высоченными кустами золотых шаров и скрывающие парочки влюбленных, которые там уединялись. Но от нас-то, детей, особо не скроешься, как ни старайся... Зарытые под стеклышко «секретики», игра в классики и даже увлекательный сбор макулатуры — все это там, на этом сказочном адресе.

А еще почти каждый адрес отнимал родных и любимых. Они таяли со временем и оставались там, на прошлых адресах, жила только память о них. Вот и прабаба Поля ушла, когда мы были на Кутузовском.

И все равно этот адрес — самый беззаботный для меня, самый спокойный и теплый, крепкая опора для всего того, что мне предстояло испытать в жизни, «подушка безопасности», основа, заложенная удивительными родителями и двумя прекрасными, яркими и нежными душами — прабабушкой Полей и бабушкой Лидой.

Когда холодно и страшно, я мысленно возвращаюсь туда, в серый невзрачный дом на Кутузовском, 17. Сейчас номер поменяли, и он уже номер 9. Захожу в подъезд, оглядываясь (я ж трусиха), поднимаюсь по ступенькам к лифту и медленно еду в старой, того времени, поскрипывающей кабине на шестой этаж. Железная дверь, охая, хлопает, я делаю неловкий шаг налево, к нашей двери, обитой коричневым дерматином с клочком ваты, который торчит около ручки. Толкаю дверь — у нас днем не было заперто — и вхожу туда, в детство.

Радиостанция «Маяк» поет что-то знакомое высокими пионерскими голосами, по-моему, вот это: «То

березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой...» Пахнет уютом, покоем, свежей нарезанной зеленью для супа и жареными гренками.

— Козочка моя, солнышко, — слышу ласковый и немного усталый голос бабушки Поли, — иди скорей, я тебе бульончика налью! Тебе с вермишелью или с клецками?

И вижу ее, невысокую, чуть полноватую, в цветастом платье и фартуке с большим карманом спереди, улыбочивую, зачесывающую седые пряди большим полукруглым гребнем и поправляющую очки, чтобы меня получше разглядеть.

— Крохотка моя, ласточка, — звонкий поцелуй в макушку и легкое похлопывание по спине... — Иди, садись.

И я сажусь. И я успокаиваюсь.

Прабабушке моей, Поле, я и решила посвятить эту книгу.

«Дорогие наши родные, Вера Павловна и Иван Иванович!

Не верю, что мы, наконец, едем отдыхать! Едем в Коктебель, затем на Кавказ. Всего недели на три. Надомо, конечно, но Роберту надо отдохнуть, очень много последнее время работал. Оставляем Катерину нашим. Малко и их, и ее, но надо прийти в себя и нам. Через пару часов летим! Я лечу в первый раз, будем надеяться, что все обойдется!

Всем большой привет!

Алена».

Все шло к тому, что в течение двух-трех месяцев надо было переехать на новую квартиру. С одной стороны, семье молодого поэта Роберта Крещенского пора было уже выбираться из коммунального подвала и жить своей самостоятельной жизнью, а с другой — двор на Поварской совершенно не собирался отпускать.

Весна началась рано, забурела сугробами, засвистела птицами, затеплила солнышком, затаяла сосульками, а самое главное, запустила нашего советского человека в космос!

«Говорит Москва! Говорит Москва! — хрипели радиодинамики из подвальных окон. — Работают все радиостанции Советского Союза и Центральное телевидение! Передаем сообщение ТАСС. Сегодня, 12 апреля 1961 года, в 10 часов 23 минуты по московскому времени в Советском Союзе осуществлен первый в мире полет человека в космос...» Слова эти торжественные слушали во дворе всем скопом — и древние Поля с Мартой, самые что ни на есть местные старожилы, и важные солидные мужчины в шляпах и костюмах, а такие во дворе тоже водились, и бабы, и незрелая молодежь, и совсем мел-

кие пацанята, державшиеся пока за мамкины юбки, и каждый сдерживал от волнения дыхание, словно вздохни все разом поглубже и более явственнно, Юрий Гагарин от неожиданности мог бы как-то неловко крутануть руль и сбиться с орбиты. И все соседи хором сразу загордились услышав эту прекрасную новость, что да, мол, мы, советские люди, такие, первые всегда и во всем — и в спорте, и в балете, а теперь уже и в космос шагнули, утерли нос капиталистам! Мужики долго еще потом собирались на лавках во дворе, хотя было им это несвойственно, дымили папиросами и улыбались, распираемые радостью, что довелось им родиться и жить в такой великой прекрасной стране. Дети тоже времени даром не теряли — напялили ведра на головы, оседлали метлы и швабры, решив, что стали очень похожими на космонавтов, вроде как в шлемах и верхом на ракетах, и принялись бегать по круглому двору как по земной орбите, в центре которого солнышком восседал памятник Толстому.

За весну и начало лета появилось много прекрасных песен про космос, совсем новое слово это быстро и прочно вошло в обиход и стало хоть и обыденным, но с привкусом праздничности. Особенно часто звучал гимн космонавтов:

Я верю, друзья,
Караваны ракет,
Помчат нас вперед,
От звезды до звезды.
На пыльных тропинках
Далеких планет

Останутся наши следы.
На пыльных тропинках
Далеких планет
Останутся наши следы!

Ее стал жалобно тянуть по вечерам даже Юрка-милиционер, который, выпив пару стаканов портвейна, запевал, икая и побрякивая, о пыльных дорожках и следах, которые он обязательно где-нибудь оставит.

Вот заколосилось и лето, погода установилась сразу жаркая, причем с самого начала июня, а к июлю во дворе цвело уже все, что хоть как-то могло показать, на что способно — даже астры около окон Печенкиных вылезли раньше времени и растопырились вдоль стены своими лиловыми и светло-малиновыми ежиками. Хоть рано им было, астрам-то. Золотые шары выросли в свой могучий двухметровый рост и увенчались веселыми желтыми шапками. Цвели и пахли чайные розы, старая Марта была по ним большим спецом, подкармливала, подрезала, разговаривала, они и отзывались всеми силами своей колючей чайно-розовой души. Волшебного запаха этих нескольких кустов хватало на весь двор и каждую семью в нем, еще и оставалось на улицу за забором — Поварскую и угол Садовой. Невероятно нежно и сладко уже начинало пахнуть сразу, как делалось несколько шагов от старой обувной мастерской на углу Садового и дальше вниз по улице. Да и китайка в это лето обсыпала красными яблочками сверх меры все свои ветви, пригнула их долу, расцветив сад до невозможности

красным. Даже Юркина крапива, и та налилась, за-
жирнела, принарядилась бессмысленными цветиками
и поднялась выше его окон, спрятав ни разу не мытые
и засиженные мухами стекла за естественной завесой.

Роберт, известный уже к тому времени поэт, от-
правил, вернее, занес письмо с просьбой об увели-
чении жилплощади в секретариат Союза писателей.
Тогда все вопросы решались только письменно, чтоб
было где ставить подписи и оставлять размашистые
резюльсии: «Разрешить» или «Отказать».

Прошу, мол, предоставить моей семье из пяти че-
ловек, написал он, новую квартиру с учетом того, что
двое (Крещенский Роберт Иванович и Киреевская
Алла Борисовна) являются членами Союза писате-
лей СССР и нуждаются по закону в дополнительной
жилой площади. Указать это было необходимо, иначе
могли и не учесть.

Начальники почитали, подумали-подумали и на
бумаге красиво вывели: «Разрешить!» — Роберт-то
уже был автором многих книг, солидным, так сказать,
поэтом, хоть пока и совсем еще молодым. Как тут от-
кажешь?

Стали рассматривать варианты для переезда моло-
дой семьи — Роберта с Аллой, молодых писателей, их
малолетней дочки Кати и двух представителей стар-
шего поколения — Лиды, мамы Аллы, и Поли, ее
бабушки. А вариантов нашлось не так чтоб уж много.

Первый адрес совершенно никому не понравил-
ся, хотя бы просто как адрес — Сокольники. Ну как
можно из самого центра, с площади практически Вос-

стания, переехать в какие-то, прости господи, пригородные Сокольники! Хотя по сравнению с остальными предложенными адресами и его тоже вполне можно было держать в уме. За три комнаты в коммунальной квартире в подвале на Поварской Роберту Крещенскому, опять же как подающему надежды молодому поэту, предложили целых три варианта, видимо, по числу комнат. Адрес в районе Сокольников был первым, туда и поехали смотреть двухкомнатную квартиру в новом пятиэтажном панельном доме. Он хоть и стоял в тихих переулочках, но рядом не то с ангарами, не то с депо, да и от метро еще надо было уметь добраться. Как Лида-трусиха представила себе, что вечером после театра или из гостей станет одна возвращаться по неосвещенным дорожкам и пустырям, так категорически отказалась даже рассматривать этот вариант, свалив все на внучку:

— Катюле и погулять там негде будет, сплошные овраги, рельсы и гудки эти паровозные по ночам. А магазины? А за хлебом куда бежать? А аптека где, вы хоть узнали? Вот то-то и оно! Снова через буераки к метро! Да еще и дом без лифта, как Поле подниматься на этаж?

Второй адрес оказался повеселее квартирой, но районом тоже не вышел — Аллуся с детства ненавидела Таганку, куда несколько пропавших месяцев из детства ездила на перекладных заниматься рисунком к прокуренной даме-художнице довольно спелого возраста с приклеенной «беломориной» на губе. Но случилось это задолго до школы балета Большого театра. Лида тогда была вся в метаниях по поводу дочкиного

будущего — ясно, что надо в искусство, но в какое именно, пока еще не понимала. Попробовали и рисование. Робко так попробовали. Художница та располагала довольно внушительной мастерской, которую ей оставил муж, настоящий крепкий художник-академик, а она, его студентка, в то стародавнее время приутилась к нему, а заодно и к его студии. По вторникам и четвергам туда теперь приходили помято-залежалые мужики-натурщики и студенты-художники, пишущие эту неважнецкую полуживую натуру. Венер и Апполонов среди них не попадалось. Натюрморты Аллуса отрисовала в центре недалеко от дома, на Таганку пошла на повышение. Студию Беломорины первый раз удалось найти быстро по мадаминой наводке — она прекрасно объяснила свое местонахождение по телефону: «Когда, милочка, выйдете из метро, углубитесь сразу в темноту перед вами, где увидите весьма не презентабельный сквэр с тремя внушительными тополями и скамэйкой с отломанной спинкой. На данной скамэйке наверняка кто-то будет пить алкоголь (мадам сделала ударение на первой букве). Минимум два человека, максимум три. Вот сразу от них поворачивайте направо! Там увидите мои окна с решетками».

Натуру на Таганке Алла писала всего четыре раза. Моделью был некий сизый, костлявый, вечно небритый алкаш лет шестидесяти, которого Алена прекрасно изучила, истратив на него всю пастель и стараясь придать его тщедушному голому телу хоть какой-то характер, а не просто анатомически правильно написав. Хотелось, конечно, некоего разнообразия в натуре, но претензии предъявлять было некому: работа натурщи-

ка — штука сложная и малооплачиваемая, поэтому он был такой, какой был. Тем более что алкаш отличался неприхотливостью и, хорошенько накотив перед работой за счет мадам, мог, в секунду скинув с себя всю одежду, легко просидеть в позе отдыхающего с 9 утра до самого обеда. И тему портрета мадам всегда называла одинаково — «Просветленная грусть». Не полностью светлая, а так, слегка просветленная. Что в этой грусти было просветленного, не понимал никто, но так, вероятно, тема задания звучала немного оптимистичнее.

Да и сам район Таганки можно было назвать точно так же — «просветленная грусть». Захолустье, неухоженность, пыль, поднимающаяся во двориках, даже когда и ветра не наблюдалось, — все какое-то чуждое и нерадостное. Но опять же с «просветом», с просветленной, так сказать, перспективой. Перспективу эту обещанную надо было ждать и ждать, снова ходить через пустыри и стройки, да и Алене в эти воспоминания о Беломорине возвращаться не очень-то и хотелось. Хотя предложенная квартира на Таганке была с балконом и в старом добротном генеральском доме с толстыми стенами, колоннами и вазонами во дворах. Но нет, этот район тоже никого из семьи не влек.

Оставался Кутузовский. Этот адрес был, конечно, тоже не в центре — в конце проспекта на Поклонной горе заканчивались границы Москвы, о чем явно свидетельствовала большая белая табличка с перечеркнутым названием города, и начиналось Можай-

ское шоссе с яблоневыми садами, деревенскими домиками, огородами и петушиными криками. Вариант этот почему-то манил больше остальных. Недалеко от еврейского кладбища у Поли здесь с издавна жили какие-то дальние родственники, и когда еще ее мама приезжала в Москву, то всегда в этой семье и останавливалась. Потом, возвратившись домой в Астрахань, она подробно рассказывала маленькой Поле, какое прекрасное варенье варят они из своей московской вишни, не хуже астраханского, и обязательно подтверждала это баночкой, от них привезенной. А еще как нравилось ей гулять по высокому берегу Москвы-реки, как весело было смотреть на ледоход и загадывать, какая льдина на какую наскочит, и слушать этот нарастающий шелест. А потом и Поля, переехав в Москву, стала иногда к ним наведываться, поэтому район этот полудеревенский, с садами и огородами, знала очень хорошо. Хотя в последнее время перестала узнавать, столько там всего понастроили. У самой Москвы-реки в 1957-м появился небоскреб с гигантским шпилем. Высотная часть его стала гостиницей «Украина», а приземистая — жилым домом. Вида это здание было импозантного и внушительного и сильно отличалось от всех обыденных домишек, жавшихся друг к другу внизу. А устремленная вверх машина, словно советская ракета, направленная на Луну, появилась, казалось, из далекого будущего и, случайно приземлившись у реки, стала главным украшением Кутузовского проспекта. «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы», — само собой пелось, глядя на нее.

В район тот знакомый Поля поехала с нескрываемым желанием. Загрузилась со всей семьей в трамвай у моста, села к окошку, чтоб ничего не пропустить, и вперед, до самой перечеркнутой таблички, чтоб от самого начала внимательно изучить весь проспект и до самого въезда в область. «Тридцатка» и шла по всей длине Кутузовского и сворачивала у самой стройки среди грузовиков и кранов, в низине, дальше пути не было, сплошная склизь да грязь. Там на конечной и вышли, чтобы прогуляться и подышать почти подмосковным воздухом.

— Вы знаете, где мы сошли? — оглядевшись, удивленно спросила Поля, опершись на небольшой парапет, который загораживал спуск от дороги к низине с небольшими холмиками. — Это же старое еврейское кладбище! На нем сам Исаак Левитан лежал! Художник! Я столько тут народу за всю свою жизнь перехоронила! От нашего зубного Абрама Кагановича, а он, как сейчас помню, всегда работал без халата в сером шелковом костюме с накладными карманами, до соседки Фирки Зильберштейн с ее диким нравом и привычным ожиданием горя! А Йося Зильберман, который взял и умер посреди полного здоровья! Они все здесь! А между ними еще с полсотни человек, каждого из которых я оплакивала горячими слезами!

Внизу копали котлован. Бульдозер дрожал от напряжения, словно охотничья собака, почуяв дичь. Видны были неровно торчащие, словно отбитые зубья, остатки памятников, тяжелых, мраморных, в основном темных и дорогих, с еле различимыми буквами и цифрами, обозначающими чью-то жизнь... Поля

пригляделась, не поняв сначала, что именно тут происходит, а потом вскинула свои подрисованные брови и запричитала:

— И вы хотите мне сказать, что прямо здесь, на этом кладбище я вижу, как идет стройка жилых домов или чего там — дороги? Я не верю своим глазам! Я сейчас заплачу! — Она схватила Лиду за руку и на секунду прикрыла глаза, слегка зажмурившись. — Нет, показалось. — Потом приложила руку к сердцу, словно бульдозером задела и его тоже.

Бульдозер кряхтел и зачерпывал землю, которая многие десятилетия охраняла покой ушедших, евреев ли, русских, какая разница... Но вот ковш, размахнувшись, жадно вгрызся в землю, поддел трухлявый гроб и вынул его одной стороной на свет божий. Рабочие охнули, застопорились, и один из них кого-то позвал, видимо прораба. Прибежал вертлявый человечек, похожий на мелкого суетливого лесного зверька, посмотрел на беду, почесал затылок, сдвинув кепку на лоб, и дал отмашку, что-то пробурчав. Мотор бульдозера взревел снова, и послышался хруст то ли дерева, то ли человеческих костей... Поля сильно побледнела, резко отвернулась и поплелась, чуть скользя, прочь. Алена подхватила охающую бабушку под руку, бережно повела по глине, но вдруг Поля решила обернуться и протянула руку туда, откуда слышался страшный треск. То ли обращалась к тем, чей вечный покой потревожили, то ли посылала страшные проклятия осквернителям могил. Лида тоже сильно вздрогнула, услышав жуткий звук, всплеснула руками и застыла, глядя на варварство, и, все еще не веря своим глазам, запла-

кала. У нее всегда были быстрые слезы. А Робочка ни секунды и не ждал, ему надо было как можно быстрее оградить ребенка от таких взрослых подробностей. Он быстро схватил Катюку на руки и огромными шагами, не оглядываясь, пошел вверх, к трамвайной остановке.

Поднявшись на дорогу, стали ждать Лиду, которая никак не могла сдвинуться с места. Алена позвала мать, но та, казалось, сначала ее даже не услышала. Грохотало по-серезному, шум стоял серьезный, заглушающий жизнь и скрывающий происходящее. Пыль стояла столбом, рабочие, натянув платки на рот и нос, сосредоточенно копали, отбрасывая лопатами трухлявые доски и помогая бульдозеру. Лида, наконец, немного пришла в себя и заторопилась к родне, стараясь не смотреть назад. Она ступила на асфальт и хорошенько потопала ногами на месте, чтобы отряхнуть с туфель пыль и грязь. Как раз подъехал трамвай, который направлялся в центр. Поля грузно поднялась на ступеньку и каким-то пустым выдохшимся голосом обратилась к сидящему у входа расслабленному пассажиру: «Молодой человек, передайте, пожалуйста, кондуктору на билеты», — и села на лавку, завалившись к окну. Совсем недалеко сзади высилась Поклонная гора, заросшая луговыми цветами, заканчивалась Москва и начиналась вольная деревенская жизнь.

Домой возвращались молча. В родном дворе Поля немного отошла, хорошенько выпив валерьянки, но все продолжала причитать, рассказывая оставшимся соседям о мародерстве:

— Может, я не в здравом уме, но зато пока что в своем, и никак не могу понять, как это, как это по

старому кладбищу можно дорогу проводить или дома строить? Как там живым людям будет житься? Как так — могилы с землей ровнять? Это где ж такое видано? Это какой же эталонный мерзавец мог такой приказ дать? Словно у них, у начальников этих, которые решили дорогу там вести, не такое же светлое будущее! Словно они собираются жить вечно! — размахивая руками, говорила Поля, обращаясь к старой своей подруге Марте, когда уже окончательно и тяжело плюхнулась на лавку под памятником Толстому, чтобы хоть как-то прийти в себя.

— Полюшка, ну что это на тебя такой грустный стих нашел? Тут ничего не поделаешь, прошлое ведь длиннее будущего, и все мы живем на чьих-то костях. Улыбайся, милая моя, — был ответ умной Марты. — Завтра может быть только хуже...

— И зачем ты мне это говоришь против ветра? Знаешь ли, мать моя, если уж и ты считаешь, что может быть только хуже, то зачем вообще рождаться на этот свет? Пусть лучше тебя сразу сровняют с землей и пустят по тебе дорогу! В чем тогда смысл жить? В том, чтоб тебя закатывали бульдозером снова и снова? — Поля покраснела лицом и заморосила руками.

— Полюшка, не волнуйся ты так, жить надо хотя бы из любопытства, — Марта взяла ее за руку и остановила беспорядочное движение. — А именно тебе жить намного сложнее остальных, потому что у тебя к любопытству присоединяется какая-то личная ответственность за все.

— Это просто объясняется: я — мать, и у меня личная ответственность за детей. Видимо, за всех де-

тей. Ну что ты хочешь от моей жизни и того, что я сегодня увидела? Уже сиди и не задавай мне вопросы. Или пойди чайку поставь, давай попьем, устала я.

Марта встала, кряхтя, ведь тоже была не девочка, и посеменила через двор к себе домой, делая вид, что шаги ее легки и ходить ей доставляет удовольствие, хотя все вокруг знали, что колени ее безумно болят и первые несколько шагов были сравнимы разве что с походкой бедной русалочки. Потом она немного расхаживалась, и звезды перед глазами постепенно теряли свою яркость.

Время близилось к вечеру, вечер был расслабленным и теплым. Чай у Марты давно остыл, она прилегла, а Поля все сидела под памятником и, хлопая себя руками по коленам, повторяла чуть вслух: «Горе ты, горе, ну горе ты, горе...» — вспоминая и представляя лицо каждого, кого сама провожала на это кладбище. Только так, ей казалось, она могла успокоить души тех, кто там покоился — и улыбчивого Кагановича в сером рабочем костюме, и старика Мохельсона в пенсне на выдающемся носу, и вечно несчастную Фиру, братьев Сельпаковых со сложной судьбой (а у кого она простая?), и рыжего Лазаря с тремя его женами — захороненными не одновременно, конечно, а с перерывами. Сидела, чуть покачиваясь, бубнила, прикрыв глаза, что-то себе под нос и ударяла руками по коленям. То ли молилась, то ли извинялась перед ушедшими за все человечество.

«Добрый день, дорогие наши!

Вернулись мы из Крыма – не узнали Катюшу, так выросла! Жизнь потихоньку вошла в свою колею, оба много работаем. Как ваши дела? Как здоровье? Сходили тут недавно с Родой в «Детский мир», целый час стояли за кассонами для Кати, а когда подошла наша очередь, то остались кассоны только для малышей на 3 года. Поймать их нужного размера очень трудно.

У нас все в порядке. Работаем над сборником. Книга должна получиться совершенно замечательная, необычно большого формата, обложки четырех цветов. На красно-малиновом фоне белыми буквами будет написано «День поэзии» и по всему полю черными и белыми автографы участников сборника – их больше ста. У Роды там идут два стихотворения, а у меня статья. Сейчас Рода сел за поэму, урывками между заседаниями редколлегии. Вчера он просто не пошел, я ходила за него. Было очень смешно, когда голосовали – обращались ко мне вместо Роды и говорили: «Ну как, Креценская-Киреева, примем эти стихи?»

У Роды скоро выйдет книга, на днях проверим гранки. Я пишу статью о молодежном издательстве. Напишем, закончим все дела и приедем к вам. Вчера, наконец, купили пишущую машинку.

ку «Москвич», вернее, «Москвa-3», и очень рада, а то страшно много денег тратили на перепечатку Родинных стихов и моих статей. Теперь будем печатать сами. Машинка очень удобная и красивая, сильно облегчит нам работу.

Целую всех вас и привет от наших,

Алена».

Двор на Поварской постепенно умирал.

Снесли вдруг обе полосатые охранные будки, стоявшие по бокам от кованых ворот, где дворник раньше хранил свои лопаты и всякое. Снесли в одночасье. Пришли совершенно незнакомые рабочие, никому ничего не сказали, пару раз вдарили кувалдой по будкам, перекурили это дело, потом поднатужились, побрятели с матюками, завалили их и, сложив бело-черные вековые доски в грузовик, увезли в неизвестном направлении. Никто и опомниться не успел и спросить, по чьему велению-хотению это произошло. Лишившись охранных будок, простоявших целый век, а то и больше, двор разнервничался, взъерошился и, не зная, как еще отреагировать на это варварство, вдруг взял и сбросил с верхней петли одну из своих кованых створок от ворот дворового входа. Воротина эта в одночасье скривилась, осела, намертво упершись чугунным углом в землю и отказываясь отныне широко распахиваться. Могучего немого дворника Тараса давно уже не было на этом свете, а выправить ворота вряд ли кто еще смог бы. Так и доживали.

Все постепенно, но довольно массово разъезжались — во дворе на Поварской обосновывался

Союз писателей СССР. Вернее, не в самом дворе, а в здании старого клуба писателей, куда хаживали когда-то и Маяковский с Есениным, и Горький с Фадеевым, и все великие пишущие того начальновекового времени. Ну а теперь здесь их сменяли менее талантливые, но зато более значимые и могущественные писатели мелкого масштаба, советские. Они воссели в фасадном здании с колоннами на втором этаже, а все подвальные клетушки под ним, вполне жилые и обустроенные десятилетиями, велено было освободить для административных и хозяйственных служб, многочисленных лакеев и помощников.

Все чаще под памятником Толстому, стоящим в самом что ни на есть центре двора, соседи устраивали проводы. Снимали, как повелось, двери с петель, клали их на козлы, накрывали белыми накрахмаленными простынями, как обычно делали на свадьбу или дни рождения, ставили бутылки, кто какие принесет, закусь, кто во что горазд, основательную же еду собирали заранее вскладчину — и гуляли-провожились сутками, не рассчитывая, видимо, уже снова когда-нибудь свидеться.

Проводили и Марту, совсем старенькую, но еще могучую, основополагающую, как марксизм-ленинизм. Они с Полей оставались хранительницами двора, надеялись небось, что так оно продлится до скончания века, но нет, не случилось, дети-внуки увозили старух из родного дворового гнезда.

Марта уезжала к сыну, который вдруг обрел мать заново, к самому жизненному закату, после ссылки

и войны, поиски не прекращал, отыскал, хоть сам считался уже давно сгинувшим, оплаканным и стертым из памяти. Но вот нашел ее, на удивление, искал и нашел, ну и решил забрать на старость к себе, отогреться хоть ненадолго, побыть сыном при живой матери, хоть и старенькой, но рядом, напиться, наговориться, надышаться, давно уже на такое счастье не надеясь.

Марта встретила сына, который однажды попростому, с адреском в руке, вошел во двор, где как раз на солнышке сидели и грелись тогда старухи. Она сначала, конечно, и не предполагала, что этот красивый солидный прохожий — ее утерянное дитя. Она помнила все до мелочей, хотя сначала и не придавала этому моменту большого значения — в ворота вошел незнакомый мужчина, статный, седой, и остановился в недоумении. Потом долго крутил головой, не понимая, налево ему идти по круглому двору или направо, торкнулся было в первую дверь, а потом увидел старух и подошел спросить у них. Сунул Марте клочок, каким-то чудом выбрав из трех баб именно ее, свою мать, которую не видел лет сорок, а то и больше. Марта, сощурившись, прочитала по бумажке свою фамилию и адрес и сначала даже совсем не удивилась, просто начала помаленьку расспрашивать его, что да как, не отваживаясь сразу верить в такое невозможное счастье. Потом, наконец, подняв на него свои светлые глаза, сказала, я, мол, это, нашел ты меня, и он молча повалился перед ней на колени, подняв столб пыли. И как увидела она две макушки на его седой голове, так на неделю и заплакала,

не то от горя, что жизнь прошла мимо и в одиночестве, не то от радости, что все-таки свиделись, поди ее разбери. Сидела в своей маленькой комнатке за резным дубовым столом, вытянув перед собой кряжистые руки, съеденные артритом, поддвигала чуть слышно и теребила уголок серо-бирюзовой скатерти с вышитым парашютиком от одуванчика. Сына пока не пускала, привыкала одна к своему счастью. Поля много раз так ее заставляла, воющей, словно волчица на луну, и причитающей: «Как же это, Поль, как же такое? Боже ты, боже! Сколько ж я счастья пропустила?»

Но все понимали — Марта именно так к счастью и привыкала. На это ведь тоже нужны были силы и время. Отвыв положенное, Марта восстала, и они с Полей принялись вязать тюки. Сына от этого дела она тоже отстранила, ни к чему это, в старушечьем добре копать. Тюков за всю жизнь набралось всего три, Марта малым обходилась, все ценное за жизнь щедро раздавая, хранить было не для кого, как думала. Уж сколько самой Поле перепало, Лидке, дочке ее, и Алене, внучке, которой было преподнесено бриллиантовое колечко в платине на свадьбу, — всего не сосчитать. Хорошая была Марта, с большим сердцем, которое всю жизнь подкраивало от воспоминаний — а как же, детей потерять, близнецов, одного лихоманка унесла еще подростком, а другой вроде в лагере сгинул, ни слуху ни духу всю жизнь, и вдруг на тебе, явился во всей красе среди бела дня... В такое счастье глаза не сразу поверили. Видно, бог смилостивился, есть он на небе-то, есть...

Накануне отъезда сели они с Полей под дворовым памятником на неубранную лавку — а чего их каждый раз убирать, все равно скоро опять сгодятся — проводы устраивали раз в неделю, не реже, ну так вот, сели и обе навзрыд заплакали. Сначала переглянулись виновато, по-детски, и сразу в голос, словно кто-то невидимый их включил.

— Мать моя, — дребезжащим голосом заговорила Поля, — что же делать, все имеет смысл кончаться... У нас тут кончается, у тебя там начинается. Такое счастье тебе напоследок привалило, кто бы мог подумать! Вот как теперь в чудеса не верить? Я вот всю жизнь старалась найти чудеса, отслеживала их, а тут вон у тебя, с лихвой! Радуюсь за тебя, понимаю, что хоть жизнь и не завязана бантиком — эвон, сколько тебе горя-то невыносимого перепало, — это все равно подарок, как ни крути. Вроде и счастлива я, уж ты, мать моя, мне поверь, но как подумаю, что теперь не смогу вот так запросто выйти во двор и постучаться к тебе, лепешками угостить, языками почесать, так щиплет в носу и сердце начинает кувыркаться...

— А меня, думаешь, не пробирает? Мы уже с тобой в том возрасте, когда на многие наши молитвы уже получен ответ, сама понимаешь... — Марта поглаживала ладонями больные колени. — Счастлива я, что говорить, но стара для такого, радоваться боюсь, не понимаю, как так может быть, вот и боюсь. Вдруг привыкну к счастью, а его снова отнимут? Сколько раз такое в жизни было, сколько раз... И неизменно с куском сердца... А сколько их, кусков этих, у меня осталось? Не себя мне жалко, ты понимаешь, давно

готова я, но тут так оно все повернулось, таким коленкором встало, что хочется какое-то время теперь уж и пожить, с сыном наговориться, порасспрашивать, как он с 15 лет жизнь без меня прошел, с подробностями, с деталями, со всякими глупыми мелочами, я ж мать, мне хочется его жизнь хоть послушать, не то что заново прожить...

— Как же такое не понять... Жила бобылем всегда, а тут тебе раз — и сын-красавец, и невестка, и внуки! Целая готовая семья! Это ж не на раз привыкнуть к такому. Но никуда не денешься, свыкнешься, хотя оно-то как раз и понятно, что в голове такое счастье пока трудно укладывается...

— Только ты, Полина, уж пообещай мне, что раз в неделю будем видеться, не важно где — ты ко мне, я к тебе, в зоопарк, в планетарий, просто в парке на скамейке — все равно, мне сам факт важен! Или Лидку посылай, она у тебя тоже хорошая рассказчица, — Марта приобняла Полю и положила седую голову ей на плечо. — Ты ж родня у меня, самая главная родня на всю жизнь. Бери детей, внуков и приезжай почаще, когда захочешь. Без тебя никак...

— Нууу, мать моя, что это ты тут расхандрепилась? Ты ж всего-навсего адрес меняешь! Ты ж на Плющиху перебираешься, а не в Африку какую-нибудь! Пять остановок на троллейбусе, и приехали! Чай, не навсегда прощаемся, мать моя, чего это ты вдруг? — Поля взбудоражилась и слегка сблелнула с лица.

Ворковали они, ворковали, успокаивали друг друга как могли, что, мол, просто переезд, ничего особенного, подумаешь, станем, наоборот, чаще видеться,

вот увидишь... А у обеих-то свербело в сердце, что зарастут обе родней, семейными обедами, совершенно неотложными домашними делами, старческими болезнями, катарактами и гипертониями, что будут встречи переносить-откладывать, а потом и вовсе встречаться, дай бог, пару раз в году на днях рождения друг у друга и станут в конце концов считать, что так оно и надо, и слава богу. Хотя обе прекрасно понимали, что сегодня нет времени, завтра не будет сил, а послезавтра не будет их самих.

Ну вот, собрали Марту.

Сын, Иннокентий, вызвал грузовик, забросал в кузов тюки, установил стол, два стула с креслом и все остальное материнское небогатство, чтобы отправить, наконец, старуху с родной Поварской на Плющиху эту чужестранную, в специально выделенную для нее комнату с большим окном в просторной отдельной квартире. Присела напоследок Марта под склонившим голову Толстым — на посошок, как сказала Поле, помолчала с минуту и обреченно пошла в грузовик. А у машины уже выстроилась очередь из оставшихся соседей — с каждым она поцеловалась, и не просто чмокая в щечку, а трижды, торжественно, с полупоклоном. К детишкам малым наклонялась, на руки брала, всех перетютюшкала с улыбкой, не проронив ни слезинки и даже пытаясь шутить. Но нет, шутки в этот раз получались глупыми и несмешными, а улыбка кривой и страшной. Тяжело и с огромным усилием поднялась на переднее сиденье: «Даже жопа, и та сопротивляется!» — и яростно замахала

всем провожающим из окна, пока наконец грузовик не скрылся за поворотом.

Там в голос и разрыдалась.

Ну и пошло-поехало. Что ни день, то по квартирам стали ходить какие-то мелкие, но очень важные начальники в мятых лоснящихся костюмчиках. Получив, видимо, окончательное задание от управляющего освободить наконец всю жилплощадь во дворе на Поварской, они по утрам вальяжно выплывали парами из дверей секретариата Союза писателей СССР. При этом до смешного были похожи друг на друга — полненькие, лысеющие, розовощекие, улыбочистые, словно в том же секретариате сделанные под копирку. Выплыв, они утиной походкой шли по двору и вывешивали на дверях всех без исключения квартир предписания в срочном порядке квартиросъемщику явиться в домоуправление или же разъясняли возмущенным и негодующим жильцам необходимость такой срочности. Помогали таким образом расчистить территорию, словно чистить ее надо было неотложно и безотлагательно для чрезвычайно важных государственных дел, не меньше. Жильцы такой спешке возмутились, хотя переездом из подвала и новыми квартирами заинтересовались. А куда было деваться, настало время.

Первой-то, конечно, взбеленилась Сусанна Николаевна, самая активная и пытливая соседка во дворе, та, которая еще в 1955 году, целых шесть лет назад (когда во двор приволокли бронзовый подарок от

украинских писателей — памятник Льву Николаевичу Толстому) написала письмо в вышестоящие органы с вопросом, почему это такая честь с Толстым оказана именно нашему двору. «Мы, все жильцы дома по адресу ул. Поварская, 52, — писала она, — простые советские люди, конечно же, совершенно не против такого великого писателя, который теперь воссел в самом центре нашего двора на высоком постаменте. Но возникает ряд вопросов, — негодовала Сусанна Николаевна, — на которые хочется получить ответы из вышестоящих инстанций. Во-первых, почему по нашему адресу установлен памятник именно Толстому? Как наш дом, а до этого усадьба Боденко-Колычевых, а затем Соллогубов и Олсуфьевых, связан с его величайшим именем? Мы, жильцы этого дома, — настойчиво повторяла она, — хотим знать, а в дальнейшем и, видимо, гордиться, если выяснится, что Лев Николаевич Толстой останавливался в нашем доме или даже писал здесь свои всемирно известные романы, которые советские дети проходят в школе. Нам очень любопытно, уважаемые товарищи, к кому конкретно заходил великий русский гений из наших предшественников, чем занимался и сколько всего провел там времени? Мы же здесь живем, мы должны быть в курсе таких фактов и рассказывать об этом нашим детям, — объясняла Сусанна Николаевна свой интерес к такому выдающемуся, но непонятному факту. — Во-вторых или даже в-третьих, — недоумевала Сусанна Николаевна, — почему именно украинские писатели сделали Москве такой дорогой подарок, а не труженики пера из других советских республик? И еще, почему

памятник Толстому такой черный и мрачный? Не лучше было бы сделать его из гипса наподобие прекрасных фигур, которые стоят повсюду в советских парках и своей жизнерадостностью, реализмом и оптимизмом радуют глаз советского гражданина?»

Натура у Сусанны Николаевны была очень писучая, любила она своими мыслями делиться с начальством, и все тут. Поэтому добавила и по поводу выселения, что, мол, возмущена спешкой, с которой трудящиеся таким срочным порядком выселяют с насиженных квартир, где мы, то есть они, прожили долгие годы и даже десятилетия. «Нам не дают, — возмущалась в конце письма Сусанна Николаевна, — никакого права выбора, выставляют из самого центра Москвы далеко на окраины и за пределы Садового кольца — кого на Кутузовский проспект, кого на Лесную улицу, а кого даже за Таганскую площадь! Мы, советские труженики, проработавшие всю сознательную жизнь на благо родной Коммунистической партии и отдавшие все силы строительству коммунизма, просим разобратся и решить вопрос в нашу пользу, в пользу простых людей!»

Какую пользу Сусанна Николаевна имела в виду, не поняла даже она сама, но письмо было подписано и отправлено, ритуал был соблюден.

Через пару недель пришел ничего особо не объясняющий сухой и официальный ответ, запутавший жителей двора еще больше. «Скульптуру Льва Толстого подарили украинские писатели на 300-летие

воссоединения Украины с Россией». Про расселение ни слова. И все, больше никаких объяснений. А дареному коню, в данном случае Льву Николаевичу Толстому, в зубы не смотрят, сами понимаете. И все равно пошли разговоры, почему именно этого товарища, а не другого великого или опять же, скажем, не девушку с веслом или пионера с горном. Понятно, что в центр двора что-то давно напрашивалось. Хотя двор оставался бы изумительно красивым и без огромного черного памятника.

Но к тому времени, как пришел официальный ответ, из старых жильцов во дворе никого, кроме Льва Толстого, уже не осталось. Расселили, вернее, выселили всех. Кого-то подальше, кого-то поближе.

Старшему Полиному сыну Арону, который всю жизнь отработал управделами Союза писателей и, собственно, благодаря которому вся семья и поселилась давным-давно во дворе на Поварской, дали квартиру в новом писательском районе у метро «Аэропорт». Уехал он одним из первых.

Ида, Лидкина сестра и младшая Полина дочь, переехала с четырьмя детьми в ту самую высотку на Восстании, за строительством которой долгое время с удивлением наблюдала со двора — кто же там будет жить, на такой недосыгаемой высоте, какие баре? Вот мужу ее и дали, как заводскому ударнику коммунистического труда.

Ну а Киреевские с Крещенскими, Поля, Лида, Алла с Робой и Катя, приняли решение двинуться на запад, на Кутузовский, в только что отстроенную, как

потом их будут называть, хрущевку улучшенного типа, выходящую своим серым и далеко не самым выдающимся фасадом прямо на проспект, названный в честь великого русского полководца.

Смотреть квартиру первый раз отправились вместе с близким другом Крещенских, архитектором Володей Ревзиным. Доехали довольно быстро — сначала пешком до Садового кольца, чего там было идти-то от Поварской: сели на второй троллейбус, ну не второй, который пришел, а под номером 2, и через пару остановок были уже на месте. А там только дороге перейти, и вот он, дом 17 по Кутузовскому проспекту.

Подъезд еще пах краской, именно зеленой краской, если уж говорить точно, которая жирно и совсем неэкономно стекала еще недавно со стен, да так и застыла на полпути крупными толстыми ручьями, даже не достигнув местами пола.

Взмылись на прочном железном лифте ввысь на шестой этаж и, поковырявшись ключом в скважине, вошли в хоромы.

55-метровые хоромы выходили прямо на проспект тремя своими окнами, а одно окно, тихое, смотрело во двор.

— Нуууу, замечательно! — обрадовался Вова, оглядывая простенькие блеклые обои и кривенькие паркетины. — Сколько пространства, какой размах! Тут все прекрасно разместятся!

— Как же пять человек разместятся в трех комнатах — комнату бабушке, маме, нам с Робой и Кать-

ке! — Алена встала у окна и закурила, глубоко затянувшись.

— Ну, придумаем, не волнуйся. Главное, теперь у вас, наконец, отдельная квартира! Шестой этаж! Растете! Я тут все обмерю, продумаю и нарисую, вас же еще не скоро пошлют с Поварской?

— Вовочка, как говорит в таких случаях Поля, чтоб то, куда тебя послали, нормально функционировало! — усмехнулась Алена.

— Ответ запоминающийся, людям понесу, — засмеялся Володя.

— Во всяком случае, просили к сентябрю освободить помещение... — Роберт открыл балконную дверь, и в пустую комнату ворвался душный липкий воздух. Вид открывался изумительный: направо — светлая высотка гостиницы «Украина», река, везде зелень, липы, цветущие кусты сирени, не город, а настоящий сад, налево — уходящий вдаль торжественный проспект, и тоже весь в зелени.

— Непривычно как сверху на улицу смотреть, — сказала Алла, схватившись за перила и с опаской глядя вниз. — Нас балкон-то выдержит, как думаешь?

— Ты серьезно? — улыбнулся Роберт.

— Представляю, как Поля с Лидкой будут привыкать к такой высоте после подвала... Ну ничего, к хорошему привыкаешь быстро, главное, чтобы всем места хватило!

Володя еще несколько раз приезжал в квартиру один, что-то измерял и прикидывал, чертил на полу, отходил, как художник, к противоположной стене, вы-

ставлял руку вперед, склонял голову набок, шурился и задумывался. И довольно быстро начертил план нового жилья. Чтобы всех радостно и удобно разместить, необходимо было перегородить стенками две комнаты из трех: отгрызть у девятнадцатиметровой гостиной 8 метров с окном и балконом для Лидки и поделить другую, двенадцатиметровую спальню, пополам — с окном для Катьки и без окна для Поли. Ну и третью комнату, которая тихая и во двор, для Робочки с Аленой, стихи в тишине рождаются, им необходимо.

Ремонт сделали быстро, за лето управились. Роберту снова пришлось написать несколько просьб в секретариат Союза писателей, чтобы выделили хоть немного белой масляной краски и сколько-то килограммов олифы, которую в продаже практически невозможно было достать, ну ее физически не было для простых советских граждан, затевающих ремонт. Но после хлопот помогли и волшебным образом раздобыли эту чертову олифу по нормальной, что удивительно, цене.

«Дорогие мама, папа!

О нашей новой квартире подробно я вам не писал, ждал фотографий. И они в Москве, наконец, есть уже. В Москве пока нет нас! Приедем — выйдем. А пока рисую план. Было три комнаты примерно 50 метров. Мы две из них перепланировали. Руководил всем этим делом Володя Ревазин. По его проекту рабочие все и перепланировали, сделали даже кое-что из мебели, встроили, стало очень удобно. Мы только платили, почти не вмешивались в процесс, и квартира получилась на редкость красивой и ладной. Хотя и обошлась нам в результате довольно дорого (примерно тысяч 20 старыми). Так что сейчас у нас с деньгами временная неувязка. Но на выходе у меня целых три книги, за которые получу гонорары. Главное, что жилье получилось очень и очень хорошим. Во всяком случае, слух о наших хоромах уже распространился в среде братьев-писателей. Приходят, смотрят, очень хвалят, видимо, немного завидуют, и теперь благодаря нашей квартире архитектор Вова Ревазин нарасхват. Пришлем фотографии — увидите. А лучше сами приезжайте!

Целую всех вас крепко,

Роберт».

Володя нарисовал не только план квартиры, но и все продумал внутри, навел шик, так сказать, хотя хрущевка и шик — понятия прямо противоположные, разве что оба слова с глухих шипящих начинаются. Но все равно красиво и изысканно получилось, под стать семье известного советского поэта. Квартирные внутренности сияли белизной и свежестью, необычностью выделялся лишь кабинет Роберта. Дверь в кабинет запиралась на навесной английский замок, который страшно клацал, словно каждый раз что-то проглатывал, а сама она была обита черным дерматином с толстым слоем ваты, чтобы не просачивались звуки ни туда, ни оттуда. Кабинет был самой большой комнатой в квартире — метров двадцать, и эти метры перерезала пополам легкая этажерка от пола до потолка, которая отделяла рабочее место от заслуженного отдыха.

Поля с Лидкой категорически отказались ехать смотреть квартиру заранее, мол, ни к чему это, переедем разом, и все, у всякой песни свой конец.

Собирались бабоньки долго, все оттягивали переезд, придумывая уловки, чтоб ну хоть на недельку за-

держаться в подземном насиженном гнездышке, хоть еще на денек, а потом еще и еще.

— Аленушка, мне надо еще всякие справки собрать, — говорила Поля, отводя для верности взгляд, чтоб не выдал, — потом сложно будет ехать, это ж вон в какую даль переселяемся!

— Так давай я с тобой все быстро обойду, что тебе нужно? — Алла чуяла, что дело не в справках, ну или не совсем в справках.

— Там везде разное время работы, собес, домуправление, паспортный стол, надо ж все обойти, я потихонечку, зачем такая спешка, мне, мать моя, не сорок лет! И даже не пятьдесят!

Потом Поля решила забрать карту из поликлиники, где попросилась к невропатологу, чтобы тот прописал ей что-то для памяти, уж очень забывчивой стала, ну и какие-нибудь успокоительные таблетки специально от переезда. Дома сказала, что врач посоветовал передохнуть, и Поля взяла еще недельку отсрочки — отлежаться в родной комнате на старом месте и на родном топчане. Ну и все в таком же духе. Потом сломался зубной протез, а починить его мог только Васька-сосед, работающий на Никитской техником по зубам, а кто, как не он, мог Поле вправить зубы?

Затем была пробная вылазка в продуктовый магазин на Кутузовский.

— Представляешь, эта хабалка обсчитала меня на тридцать копеек! — победно кричала Поля Лидке и Алле в надежде, что это известие остановит их от непродуманного переезда.

— Какая хабалка?

— Да кассирша в вашем кутузовском продуктовом. Больше в этом районе в магазин ни ногой! Лучше бы здесь, у своего дома, все накупила! Так нет, поперлась туда! Проверить! Проверила! Надули! Мои-то меня все знают! Никогда бы не обжулили!

Этот маневр тоже не удался, и подготовка к переезду продолжалась.

Роба с Аллой собирались недолго, в основном перевязывали книги, которые, собственно, и составляли основу багажа. Мебели почти не набралось — и Поля, и Лидка спали в подвале на топчанах, сколоченных из досок, с матрасом сверху. Матрасы брать побоялись, все помнили, как долго боролись с клопами, а вдруг и в новую квартиру они перетащатся? Ну и помимо этого топчаны, как говорила Алена, стыд и позор, решили всем купить по тахте, которые только что появились в продаже и вошли в моду, эдакий полудиван-полукровать. Но Поля стала сразу ворчать и по этому поводу:

— Вот придумают же, ей-богу, слово — «тахта», чего названия-то разводите, разве что от безделья? Тахта... Ох-ох-ох, да уж, надо жить долго, чем дольше живешь, тем больше удивляешься... Тоже мне, тахта... Лежак, он и есть лежак... Может, все-таки свои возьмем, а, Аллусь? Может, не будете под закат мне делать нервы? Дайте хоть доспать счастливой на моем стареньком!

— Мама, не позорь детей! — сказала Лидка свое веское слово, и этот аргумент стал решающим, Поля успокоилась.

— Я себе все знаю, а вы делайте, что хотите, — подытожила, расслабившись, Поля.

В общем, пролежанные древние топчаны остались в подвале, а на новый адрес переехали вполне приличные стулья, штук пять, табуретка, которую Поля еще тридцать пять лет назад привезла из Саратова, да резной дубовый стол с тайничками, подаренный давным-давно Мартой. Поля, правда, пыталась его Марте вернуть, но места для него, такого огромного, в квартире Иннокентия, сына, не нашлось. Еще погрузили два дохлых Лидкиных фикуса — их она никак не могла предать, ведь многие годы они рядом с ней выживали в подвале без солнца и хоть какого-то света, превратившись, в конце концов, в некое подобие диковинных вьюнов. Стволы их истончились и обессилели, но Лидка окружила их заборчиком из реек, на который домашний фикус опирался всем своим ослабшим за подземные годы организмом. Чахлые лианы светло-зелеными, почти белыми стволиками стремились туда, в высоту, к полуподвальному окошку, в которое виднелась земля и полоска света. Ночами они, опершись на костыли, мечтали, наверное, когда-нибудь выбраться на свободу и увидеть живое солнце и небо, а потом, если им дадут такую возможность, оплести весь двор большими блестящими листьями, ставшими уже, наконец, зелеными.

В общем, переехали в один день одним грузовиком — одной ходкой, как определила никогда не сидевшая Поля.

Время Поварской улицы закончилось в сентябре 1961-го.

Настало время Кутузовского.

«Дорогие мои!

Наконец-то! Наконец-то переехали! В новую, в самую новую квартиру! Получилась она отличной (хотя это трудов и нервов стоило мною-много!). Соседей нет, ни души! Честное слово, это очень здорово! В общем, блиндаж на Поварской оставлен нами. Навсегда оставлен. По правде говоря, с ним тоже было безумно жалко расставаться, все ж таки прожито там было много дней, недель, месяцев и лет. Новый адрес теперь вы знаете:

Кутузовский проспект, 17, кв. 119, 6-й этаж, 4-й подъезд.

Уже принесли бумажку, что ставят телефон. Хотят поставить спаренный (на две квартиры одна линия). Бедные соседи, ведь столько, сколько звонят мне, им и не снилось! Так что я подаю заявление министру с просьбой поставить мне телефон одиночный. Пока ответа нет — ждем.

Пишите, целую всех крепко,

Роберт».

— Ох ты ж, мать моя, — заворчала Поля, увидев высоченную девятиэтажную домину, когда машина остановилась у подъезда. — Хоть не на самую верхотуру лезть, а посередке этажей-то этих. Как все тут хорошо расчистили, асфальт положили, а то раньше только вплавь можно было. Я два раза до войны была у тети Брони рядом с вокзалом, потом зареклась, когда в грязи увязла и один сапог утопила, смех и грех.

— Да, мам, ты рассказывала! И как в одном сапоге приехала, а как же! Обсмеялись тогда до коликов! Представляю, сколько ты натерпелась, пока до дому дохромала! Но ты сама тогда громче всех грохотала, остановиться не могла! — улыбнулась Лидка и ткнула маму локтем в бок. Жест этот простой четко передавался из поколения в поколение в семье Киреевских, и ничего с этим залихватским движением души нельзя было поделать. Поля двинула локтем в ответ и в очередной раз принялась рассказывать:

— Ну ты ж не все до конца помнишь! Тут ведь раньше разливало постоянно, где высотка эта теперь с гостиницей, берег низкий был, и не то что лужи, а моря-окияны даже в летнюю сушь стояли, ни пройти, ни проехать! Вот я и увязла тогда у берега. Доски

на лужу положили, но не до конца, я и ступила, думала, там мелко. Вот, ну ногу и засосало. Я испугалась, выдернула резко, а над сапогом уже жижка сомкнулась, и все, нет сапога, ищи-свищи. Это сейчас любой фасон в магазине можно купить, а тогда не очень-то и разбежишься. И поплелась, хлюпая, от того омута. Люди смотрят, не то жалеют, не то смеются, а я иду в одном сапоге, ноги по колено грязные, вся после борьбы за сапог растрепанная, растерянная, словно за мной разбойники гнались. Помню, навстречу еще шел страшный еврей-альбинос, так его аж пере-дернуло, когда он меня такую увидел! «Да ты на себя в зеркало бы посмотрел, — подумала я, — тоже мне, отворачивается он!» Подняла голову и гордо так пошла меж людей, словно положено мне в одном сапоге ходить! Но внутри, мать моя, так стыдно мне не было никогда! И с тех пор зареклась на Дорогомиловку показываться, обиделась, что за дела, сапоги с живых людей сдирать! Так вот взять и среди бела дня их в луже и похоронить! Дааа, место тут было незавидное, Дорогомиловка эта, огороды да палисадники, деревня, одним словом... А сейчас вон оно как, какую тут, оказывается, махину поставили, до облаков достает высотка эта! И все в асфальт закатали, не страшно ходить стало. Ну что, заходим или пока осмотримся? — Поля встала, подбоченившись, у подъезда, как Кутузов, всматривающийся в Бородинское поле.

С десяток деревьев, посаженных у дома всего год назад после окончания строительства, еще не совсем окрепли, а по некоторым жалким стволикам вообще

нельзя было понять, что за порода такая у дерева — то ли клен, то ли липа, то ли ясень-тополь, палка и палка с тремя скукоженными листьями на макушке. «Эх, жаль березок не насажали, вот дерево быстрое и без капризов. Березка, она ж как девушка — где упала, там и приросла. Ну да ладно, — подумала Поля, — и эти пусть вытягиваются, были бы корни, листья нарастут», — и посмотрела наверх, где шумели старые высоченные деревья, чудом сохранившиеся в процессе активной коммунистической стройки.

Поля пошла от дома по аллейке, ведущей в глубь двора. И чем дальше отходила от подъезда, тем гуще росли кусты и деревья, словно и не в Москве вовсе они жили, а в дремучем лесу, где-то далеко-далеко от города. Ну, не совсем, может, и в дремучем, конечно, а так, к слову.

«На Поварской до такого запустенья не довели бы, все нестрижено, патлато, ветки вразнобой, никакого ухода...» — подумала Поля, вспомнив могучие, но аккуратные душистые липы и китайки, росшие в строгом хороводе по кругу родного двора. А тут перед ней в беспорядке, как в лесу, выстроилось штук десять-двенадцать громадных деревьев, уходящих кроной в небо, сказочных, с дуплами, обжитых птицами и белками. Новорожденные же веточки были посажены рядом с пожилыми стволами вполне заботливо, ничего не скажешь, в распорочку, скорей всего, на месте уже ушедших. «Через сто лет вымахают», — подумала Поля. Птица к ней прилетела, у ног почему-то зашастала, не пугалась. Трясогузка с чем-то съедоб-

ным в клюве. Бегала вокруг по дорожке, хлопотала, головку поднимала, вглядывалась.

— Уж ты, мать моя, какая красавица! Чего сказать хочешь? Соседями теперь будем, вот так вот. Чего ты ешь-то, мне ж знать надо, чем тебя привечать. — Трясогузка расшаперила крылышки, дернула хвостиком и полетела над землей прочь, низко-низко.

Прямо напротив входа в подъезд, чуть на взгорке, разлапился старинный куст сирени, кряжистый, заросший, падающий шершавыми стволами на землю, чудом выживший в строительной неразберихе, матерый. Поля тронула по ходу ветку, не то здороваясь, не то опираясь, вернулась к подъезду и тяжело села на одну из лавок, совсем новых, поставленных под старыми кленами. «Вот, хорошо, есть где сесть, не надо будет со своей табуреткой туда-сюда шастать», — подумала Поля, откинулась на спинку и посмотрела вверх. Широкие резные листья шуршали в вышине и закрывали небо у двери, создавая ощущение защищенности. А чуть поодаль от подъезда, но достаточно близко, боком пристроился трехэтажный деревянный дом, старенький, дореволюционный, чуть поехавший набок и, видно, давным-давно не отремонтированный. Выглядел он, конечно, не ахти, без должного-то внимания. У него было два входа и палисаднички по фасаду, где росли золотые шары вперемешку с могучей двухметровой крапивой и высоченными стеблями могольника. «От, с соседями надо будет пойти познакомиться и намекнуть, чтоб за садиком ходили, чтоб внешний вид во дворе был, — подумала Поля и закивала сама себе головой. Мысль ей понравилась. —

Пирожков напеку и пойду. Чего там ходить — три этажа всего. Уйду с пирожками, приду с новостями, как говорила мама. Скоро ж мой юбилей, пирожки точно после останутся», — и опять она задумалась о своем дне рождения, ведь так много лет ей еще никогда не было... «Ох-ох-ох, — вздыхала она, — целых восемьдесят стукнет, цифры не так встали... Это ж настоящая старость, зрелость закончилась, рубеж, девятый десяток пойдет. Откуда ж ума на такой возраст взять...»

Ну а так, внешне на новом адресе ее пока все устраивало, тихо, зелено, уютно и совсем даже не по-городскому — их новый высокий дом своей серой машиной, казалось, отсекал остальной мир от двора, здесь не слышно и не видно было прохожих, суеты, машин, да и самого города как такового. Он словно был той самой границей между городом и деревней, о которой писал кто-то важный, не то Ленин, не то Сталин, откуда-то ведь она это помнила.

Поля снова оглядела дворовую рощу, покосившийся домик, тяжело встала и медленно пошла к двери, Лида ее не торопила, дожидалась, давала оглядеться. Открыв дверь, помогла Поле подняться на несколько ступенек вверх, к лифту — коленки у матери последнее время довольно сильно болели. На площадке отдышалась, но, увидев лифт, взбунтовалась.

— Ох ты ж, мать моя! Не пойду я туда! — Для Поли это было неожиданным препятствием, о котором она и не подумала. Новую квартиру получили, это, конечно, понятно, но про шестой этаж она даже и не подумала, морально не подготовилась, не настро-

илась и вот теперь встала перед фактом, то есть перед лифтом. — Не пойду, и все!

— Мама, не придуривайся, ты же знаешь, что это такое, просто подъемник! — постаралась вразумить маму Лидка. — Ты же ездила!

— Куш ин тохас, подъемник! Он маленький! Я, во-первых, в него не помещусь, а во-вторых, бо-язно! А если он застрянет? И я остаток жизни проведу между небом и землей в этой мышеловке? Ни за что!

Поля взялась за перила и демонстративно сделала несколько тяжелых шагов вверх по лестнице.

— Мама, не дури! Где твой хваленый еврейский ум? Ты ж не из деревни приехала! Ты все прекрасно понимаешь! И подумай сама, ты ж не сможешь каждый раз спускаться и подниматься пешком на шестой этаж. Когда-нибудь все равно придется зайти в лифт! Так сделай это сразу! — Лидка пыталась убедить мать.

— Где это видано, чтоб родная дочь родную мать на-сильно запихивала в железный ящик? Да еще при жизни?

— Это ты так шутишь, я понимаю?

— А ты еще сомневаешься в моем чувстве юмора? Я просто пытаюсь отсрочить этот рискованный шаг к смертоубийству! — Поля спустилась на площадку перед лифтом.

Внизу хлопбыстнула входная дверь, и послышались быстрые шаги по лестнице. К лифту подошла, почти подбежала, молоденькая девушка, наверное, студент-ка, хорошенькая, беленькая, воздушная. Она с легкой улыбкой посмотрела на Полю с Лидкой, на стоящий на первом этаже лифт, дернула железную ручку и от-крыла дверь.